

Игорь Шестков "Чужак"

Чужак

В детстве мучил меня кошмар.

Будто бегу я в незнакомом городе, ищу мой московский дом и не могу найти.

Дома на улице стоят плечом к плечу, как солдаты, между ними нет проходов.

Я бегу.

Бегу.

Улица как коридор. Туннель без выхода. Телом из него не выйти.

Дождь моросит. Неба не видно – серые облака висят низко.

Душно.

Крутые, покрытые черной черепицей крыши лоснятся от влаги.

Останавливаюсь, чтобы перевести дух. Смотрю по сторонам. В домах разбиты двери, выбиты стекла. Внутри – тьма, запустение. Оттуда доносятся странные шорохи и скрипы.

Страшно.

Невдалеке – мост над неширокой речкой. Вода бурая.

Вдоль реки вытянулись фабричные корпуса. Смутно видна высокая труба и кирпичная башня с циферблатом без стрелок.

Пахнет противно – угольной пылью, стальной стружкой, машинным маслом.

По берегам реки – большие деревья. Листья на них серые, маленькие, сморщенные.

Асфальт на улице растрескался, в лужах коричневая жижа с бензиновыми разводами.

Ни машин, ни людей не видно.

Кошмар этот мучил меня несколько раз. Каждый раз, просыпаясь, я хватался покрепче за мой обыденный московский мир и мрачное видение исчезало.

В 1990-м году я попал против моей воли в немецкий город С..

Вышел из здания вокзала, прошелся туда-сюда, огляделся и узнал тот самый коричнево-серый город из моего детского кошмара. Боги судьбы перепутали

сны, ошиблись. И решили исправить ошибку – отправили меня в проклятый город через четверть века. Сопротивляться не было сил. Я смирился и остался. Ну да, конечно, в реальном городе все было не совсем так, как во сне – тут ездили автомобили, сновали люди. В центре был большой пруд, окруженный плакучими ивами, на окраинах были разбиты прекрасные парки. Но многое в деталях повторяло мой сон – вонючая бурая речка протекала недалеко от моего дома, проклятая башня с циферблатом без стрелок торчала невдалеке, огромная фабричная труба господствовала в небе.

Боже мой! Это мой город, и мне придется в нем жить...

Легко сказать – жить. А что делать, если твое существование съежилось, а внутреннее время – остановилось. И пространство сворачивается за твоей спиной. Вроде бы ты тут, а на самом деле тебя нет, ты не существуешь.

Ты в коконе времени.

Тело стареет, жизнь проходит, а ты не изменяешься, опыта не прибавляется. Косность материи не спасает, ее тяжелый поток не несет тебя в своем чреве. Занесло дурака в параллельный мир и демоны ада гогочут, наблюдая твои кривляния.

Ужас жизни не в том, что любая фантазия может стать твоей тюрьмой, неожиданно материализовавшись, а в том, что эта материализация может оказаться половинчатой, мнимой. Взлетев, страшно не упасть, а навсегда застрять в воздухе.

Многие подумают – так тебе и надо! Не надо было покидать родной очаг, свой народ, свой город. Сменил шило на мыло! Москву на город С..

И сама брошенная родина отзывается равнодушием, в котором слышна угроза – предатель, беглец! Приютившая тебя страна тоже не отстаёт – проклятые иностранцы! Паразиты! Выслать!

И даже искренняя помощь и сочувствие новых друзей имеют легкий, но неистребимый привкус презрения к беженцу, чужаку, пришедшему по чужое добро.

«Зачем ты сюда приехал?» – кричит это презрение.

«Зачем ты вообще живешь, падаль?» – доносится с родины.

«Вон!» – вопит Германия.

«Подохнешь как пес!» – отзывается Россия.

Эти истошные крики, этот свист валькирий и лай Цербера не так уж страшны – так кричит вожденная свобода, это голос освобождения от фантомов государства, культуры, национальности, религии.

Приветствие серафимов, посылаемое переплывшему Стикс.

Мадам Лили

Просторный классный зал. Столы.

За столами сидят люди.

Они молча пишут что-то в серых тетрадах. Тишина нарушается только монотонным голосом учительницы, скрипением стульев, кряхтеньем, вздохами.

Я тоже сижу за столом. Передо мной лежит тетрадь и синяя шариковая ручка с обгрызанным концом. Кто его обгрыз?

Почему мне страшно?

Во сне думать трудно.

Я не знаю, кто я.

Не знаю, мужчина я или женщина, мальчик или старуха. Гляжу во сне на свою руку. Рука как рука, без свойств, без возраста. Как будто и не моя.

В классе высокий потолок. Слева и справа просторный белый коридор. С небольшими белыми дверями. Больница?

Учительницу не видно. Между мной и ней стоят казенные шкафы. Или старомодные комоды. Огромные, почти до потолка, из массивного дерева. Что в них?

Кажется, какие-то старые папки. Истории болезни?

Я вслушиваюсь, пытаюсь понять, что говорит учительница.

Не понимаю ни слова.

Это не человеческая речь, а мышинный писк, сопенье...

Что же пишут в тетрадках мои соседи?

Спросить что ли кого?

Рискованно. А вдруг он или она встанет, покажет на меня пальцем и отвратительно завизжит? Тогда все поймут, что я – чужак. И набросятся скопом. Решаюсь потревожить тучную женщину в лиловом платье, сидящую на парте передо мной. Осторожно дотрагиваюсь указательным пальцем до ее плеча.

Извините, что вы пишете?

Женщина поворачивается ко мне.

О, Боже! Это не одна женщина, а две. Сиамские близнецы, сросшиеся лицами, похожими на лицо несчастной Фриды Кало. Три глаза и два рта. Они возмущены моей дерзостью. Они грозно хмурят густые сросшиеся черные брови, их напояженные губы дергаются в припадке справедливого гнева.

Близнецы пытаются говорить. Но выдавливают из себя только шипение и хрип.

Они отворачиваются и принимаются писать дальше. Одной правой рукой.

Остальные руки – маленькие, уродливые – висят как плети поверх платья, в которое всунуты два пухлых сросшихся тела.

Обращаюсь к сидящему справа от меня мужчине, похожему на небольшую ворону.

Простите, что вы пишете?

Он поднимает голову и с ужасом смотрит на меня.

В его больших воспаленных глазах смятение. Он бормочет: «Оставьте меня в покое. Кар-кар... Я записываю слова учительницы. Не мучайте меня! Я готов на все. Возьму любую работу. Могу полизать у вас под мышками после уроков, только не мешайте мне писать. У меня слабая память, не могу ничего запомнить.

Я должен аккуратно записать все, что скажет мадам Лили. А вечером я постараюсь выучить записанное наизусть. Буду долдонить всю ночь. Что-нибудь, да останется! Да, да, вы смеётесь. Вы хотите помешать мне, а потом, когда я срежусь, вы будете торжествовать. Стыдитесь. Пишите. Пишите, как все! Кар-кар-кар...»

Лютц

Четырнадцатилетний сын моих венских знакомых Лютц рассказал, что по их школе ходят видеокассеты с фильмами, нелегально отснятыми во времена фашизма в концентрационных лагерях. Любители садизма снимали стоящих в газовых камерах голых женщин и детей до пуска газа и после. Через стеклянные окошки в дверях.

Я спросил Лютца: «Ты видел сам?»

«Да, да...»

«Тебе не было страшно?»

«Нет, меня же никто не трогал».

«Тебе было их жалко?»

«Нет».

«Ты онанировал, когда смотрел?»

Лютц вначале не отвечал, но когда я заверил его, что ничего не скажу его родителям, выдал из себя: «Да. Да. Это было здорово и быстро. Я кончал, когда они все там обсирались...»

Записи в фотоальбоме

Я шел по улице. Рядом со мной шел дождь.

Улица начала медленно подниматься. Как разводной ленинградский мост.

Поднималась и поднималась... и встала наконец вертикально как мост в небеса.

В последний момент я уцепился за газовый фонарь и повис на нем как капелька росы на соломинке. Я сверкал и переливался светом.

Потом не выдержал, упал и понесся как метеор в космическую пустоту.

Дождь несся за мной, как рой ошалелых ос.

...

Охота была в самом разгаре. Десятки нагих охотников неслись, потрясая длинными тяжелыми копьями, улюлюкая и громко свистя, по улицам города. Дичью был я, огромная белая такса. Тучная, неповоротливая. С большими висячими усами.

Даже если бы я мог бежать, мои короткие ноги не спасли бы меня от этих молодых парней, изнывающих от охотничьего азарта и жажды крови. Но бежать я не мог – одышка, старость, злоупотребление мучным давали себя знать. Я решил прикинуться мертвым. Лег на спину, закатил глаза, выпучил живот, сложил лапы на груди, застыл и перестал дышать. Я слышал как охотники топали своими ножищами по мостовой, старался не вздрагивать от их коротких гортанных криков. Потом все затихло. Вокруг меня воцарилась мертвая тишина. Через минуту я не выдержал, вздохнул и открыл глаза...

Охотники стояли вокруг меня и жадно разглядывали жирную дичь круглыми красными глазами. Их правые руки с копьями были задраны вверх, они были готовы поразить меня в сердце. Я сжался, задрожал и пустил ветры.

Десятки тяжелых копий с бронзовыми наконечниками вонзились в мое белое тело.

...

Дом ужаса.

На его крыше сидел слон, похожий на паука. Он ощупывал дом десятками своих омерзительных длинных хоботов и смотрел на меня восемью выпученными глазищами. Я понял его план. Он хотел спуститься с дома по фасаду и наброситься на меня. Но это ему не удалось. Он был слишком тяжел. Я подошел к заколоченному окну и заглянул внутрь. Обезумевшие домовые грызли кости мертвой старухи, сидящей в кресле-качалке.

...

Началось это давно-давно, тогда, когда мать ставила меня в угол за мелкие домашние провинности. Я стоял и смотрел на наши старинные обои с барочными завитушками и кружками. Смотрел, смотрел...

И тогда оттуда, из мира за стеной, на меня начинали смотреть ОНИ. Через кружки на обоях.

Кружки превращались в глазки. А потом из стены вылезали тигриные или

акульки морды и страшно разевали свои пасти, усеянные неправдоподобно большими зубами.

Из угла выбегали крысы с синими ленточками, обвязанными вокруг толстых шей и барсуки в бордовых сандалях.

На обоях открывалось квадратное окошечко и из него выглядывала огромная жаба.

Бороться с этой нечистью мне приходилось одному – взрослые не видели и не чувствовали ничего. Однажды, двухметровая оранжевая змея, выползшая из моего угла, вползла в полуоткрытый рот моей бабушки, а затем вылезла из ее уха. Бабушка ничего не заметила.

...

Ворота ада.

Так я звал про себя дом напротив. Рядом с его парадным входом пропадали люди. Я видел, как они исчезают. Как будто их всасывал пылесос. И в то же мгновение тот же адский пылесос выбрасывал их назад. Они поправляли одежду, встряхивались как псы и шли себе дальше как ни в чем ни бывало.

Я знал, что парадный вход служил воротами в ад. Изнывающие от скуки дьяволы затаскивали через него прохожих в преисподнюю. Чтобы мучить их там, как злой ребенок мучает котенка.

Как долго они забавлялись с своими жертвами я не знаю – в перпендикулярном времени столетия длятся лишь мгновения. Потом, насытившись вдоволь ужасной забавой, они выталкивали несчастную жертву назад в наш мир.

Человек, побывавший в аду и вспомнить ничего не мог. Ни синяков, ни ран не оставалось на его теле.

В этом доме размещалась теперь диакония. Я видел, как люди в черном с суровыми бледными лицами, сидя за гигантским овальным столом, часами слушали отчет или инструктаж такого же как и они пастора в темной одежде с суровым бледным лицом.

...

Дома без удобств.

В этих бедных домах без удобств жили раньше ткачи.

После долгой, мучительной работы на ткацких станках они приходили домой и

хотели воспользоваться удобствами, но удобств в этих домах не было.

Поэтому ткачи пользовались удобствами только на фабрике, а дома смотрели телевизор, ели, спали и терпели.

Терпели, терпели, терпели...

А по утрам быстро бежали на фабрику.

Даже иногда подпрыгивали.

Свистели и гудели как локомотивы.

У-уу-уууууу!

...

Проезжающий мимо велосипедист посмотрел на этот дом.

Дом был ему знаком, ведь он прожил в нем пятнадцать лет. Он жил в нем, пока его не сбил автомобиль напротив цветочного магазина.

Велосипедист был похоронен на городском кладбище недалеко от крематория. С тех пор он ездит по улицам города на своем старом велосипеде фирмы Диамант. Иногда он оставляет велосипед на улице и входит в этот дом. У меня ни разу не хватило духу посмотреть, что он там делает...

...

Эта фабрика была закрыта двадцать лет назад.

Но из ее высокой трубы все еще поднимается дым, в ее окнах мелькают зловещие фигуры. По ночам в фабричные ворота въезжают десятки грузовиков... Но ни один грузовик не выехал из фабричных ворот за последние двадцать лет. Под фабрикой был проложен туннель, но его залила вода из речки. Грузовики ржавеют в туннеле под водой. Внутри их кабин плавают жирные желтые рыбины.

Желтые рыбы фосфоресцируют, и в этом зыбком свете хорошо видны не до конца разложившиеся трупы водителей грузовиков...

...

В этом доме жил после войны людоед. Его вечно терзал волчий голод.

Он съел соседку.

Потом соседа.

Потом их сына.

Потом и их собаку.

Затем он съел свою двоюродную сестру.

Пригласил ее отведать пирожков, затем убил, изнасиловал и расчленил.

Когда его арестовывала полиция, он жарил почки другой своей двоюродной сестры.

Предлагал полиции попробовать.

Когда его везли в тюрьму, он жаловался на голод. Уверял, что он не злой человек и никому не желает зла.

Снабжение плохое, говорил людоед, вздыхая, даже на фронте кормили лучше...

На фронте он был, как и многие другие мужчины города – поваром. Некоторые впрочем, были радистами. Телефонистами. Специалистами по камуфляжу.

Конюхами. Шоферами. Врачами-дантистами. Наблюдателями.

Никто никого не убивал.

И не съедал.

Не то, что в мирное время.

...

В этом доме жил тридцать пятый, если считать справа налево, городской почтальон.

Он никого не обижал, он только разносил почту в отведенном ему районе.

Звонил в дверь, ему открывали, он отдавал почту и уходил.

И никого не обижал.

Иногда он оставался поболтать с симпатичными кумушками, жительницами тридцать пятого почтового района города.

Обсуждал с ними последние городские новости и погоду, иногда даже выпивал чашечку невкусного бобового кофе.

А потом... уходил восвояси.

И никого никогда и пальцем не тронул.

А ему ведь так хотелось...

...

А в этом заколоченном доме жил продавец золотых рыбок.

Он не ел человеческое мясо, не разносил писем и не насиловал мертвых двоюродных сестер.

Он разводил и продавал золотых рыбок.

А в свободное от работы время он пел старинные немецкие песни.

...

На этой площади я упал в обморок.

Каждый раз, когда я проходил по этой площади по пути в магазин Лидл, я думал, только бы в обморок не упасть.

И однажды... упал.

Посмотрел на картинку, нарисованную на стене и брякнулся. Разглядел в нарисованных облаках моего близнеца. Он кивнул одной из голов и показал мне свой раздвоенный язык. А я упал от страха в обморок.

...

На внешней стене библиотеки кто-то приклеил плакат. От дождя и солнца плакат потерял свои краски. Невозможно было понять, что же на нем изображено. Потом кто-то, неизвестно зачем, вымазал плакат черной краской. А затем случилось чудо – на плакате само собой вдруг показалось лицо покойной директрисы библиотеки.

Директриса долго смотрела своими мертвыми глазами в небо, а потом исчезла так же внезапно, как и появилась. Должно быть обиделась на рисующих граффити подростков. У нее и во время жизни с подростковым поколением отношения не складывались. А уж после смерти...

...

У этой старой кирпичной стены кого-то когда-то расстреливали.

Или пыряли ножами.

Или пытали.

Пытали, а потом насиловали.

Или – наоборот, вначале насиловали, потом пытали.

А ножами не пыряли вовсе.

И расстреливали.

А может быть – ничего не делали.

Разве что какой паршивый кобель помочился на эту отвратительную стену.

...

Они жили вместе почти шестьдесят лет. Растили детей, работали, любили, отдыхали.

Потом умерли. Вначале старушка, потом – старик.

После смерти они очнулись, как после тяжелого сна, в океане. На надувных матрасах.

Океан был спокоен, вокруг них тихо плескались крохотные ласковые волны.

Солнце не жгло, ветра не было, сквозь прозрачную голубую водичку было хорошо видно покрытое разноцветными камешками дно. В воде не было ни рыб, ни медуз, в воздухе не было птиц, в небесах цвета желтого опала не было видно ни облачка.

Он увидел ее, она увидела его. И они улыбнулись друг другу беззубыми ртами.

А затем они легли на своих матрасах на свои старые, морщинистые животы и стали отчаянно быстро грести руками. Как бабочки или стрекозы, попавшие в воду. Они сбивали воду в пену и эта пена покрыла поверхность воды моря желтоватым ковром.

Они плыли в разные стороны. Через несколько минут они потеряли друг друга из виду.